

Артист N...

«В Россию баритонам ездить нельзя - там Головин». (Из рецензии на выступление певца в Милане летом 1929 года).

1. Костюм Фигаро

Осенью 1979 года мы с женой были в Польше. В самом конце поездки попали в Варшавский театр оперы и балета на вечер балетных миниатюр в постановке Сержа Лифаря.

В антракте отправились в театральный музей. Три небольших зала, ярко освещенных огромными люстрами, были заполнены обычными музейными экспонатами: макеты постановок, афиши, фотографии, костюмы... Я, может быть, прошел бы мимо витрины, где был выставлен ярко-зеленый костюм Фигаро, но уж очень он был красив, весь украшенный блестками и кружевами. Нагнувшись, чтобы прочесть надпись, исполненную на трех языках: польском, английском и русском... Там было написано: «В этом костюме в нашем театре в сезон 1931-1932 года пел партию Фигаро премьер Большого театра СССР Дмитрий Головин».

Да не посетует читатель на эту литературную банальность, но у меня буквально остановилось сердце... Жена потом говорила, что я страшно побледнел, на лбу выступили капли пота, она еле успела усадить меня на стул...

Я закрыл глаза, а когда открыл, уже не было вокруг ни Варшавы, ни театра, ни музея, а был маленький уральский городок Ивдель, занесенный снегом, съехившийся от холода (только ли от холода?), опоясанная колючей проволокой зона и вросший в землю барак с тусклой лампочкой под самым потолком... Если пристально присмотреться, можно было прочесть надписи на дощечках: «Гринблат М.Я., год рождения, срок, статья», «Головин Д.Д., год рождения, срок, статья...» Да, с великим баритоном, премьером Большого театра, мы более трех лет пролежали на одних нарах в печально известном Ивдельлаге, о котором у Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» сказано: «Мы сидим на Краснопресненской пересылке и молим Бога только об одном - не попасть бы в самый страшный советский лагерь, в Ивдель, что на Северном Урале». Так вот Головин и я как раз туда и попали! Было все: и общие работы - лесоповал, лесная биржа с ручной погрузкой бревен, молевой сплав по реке, постройка барачков, но потом все-таки театр, театр за колючей проволокой, в котором работали прекрасные артисты драмы, оперы, балета, эстрады, цирка... Странная и страшная закономерность - плохих артистов там не было, видимо, «брали» только артистов с союзной, а то и мировой известностью, сказавших свое слово в искусстве. Когда сейчас, направляясь в нашу Международную Ассоциацию деятелей эстрадного искусства к ее президенту знаменитому танцовщику Махмуду Эсамбаеву, я с Тверской - недалеко от Центрального телеграфа - сворачиваю на улицу Неждановой, то всегда задерживаюсь возле первого дома, что стоит на левой стороне. Здесь недавно установили памятную доску, напоминающую о том, что именно в этом доме жил до ареста и гибели в застенках Лубянки великий режиссер Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Да, этот дом хранит память о многих трагедиях: здесь убили жену Мейерхольда Зинаиду Райх, здесь же «взяли» их добрых и хлебосольных соседей - отца и сына Головиных... По чудовищному обвинению в убийстве Райх их осудили, и они оба оказались в лагере.

Недавно журнал «Огонек» по материалам из рассекреченных архивов рассказал, как это было. Как удобно было обвинить именно Головина, артиста режимного Большого театра, не раз «замеченного» в вольных разговорах, почему-то не уехавшего со всей труппой в эвакуацию в Куйбышев, а оставшегося в столице якобы для обслуживания госпиталей и воинских частей, «наверное, немцев дожидаться?!»... «Праведный» суд состоялся, и десять долгих лет всемирно известный голос Головина звучал в бараках, столовых (в дни выступлений театра они превращались в концертные залы), и арии Онегина, Мазепы, романсы и песни слушали сотни тысяч «эков», попавших сюда, как правило, по такому же ложному обвинению, по такому же «праведному» суду...

2. Я — Митька, а я — Федька

Году в 1912 или 1913 (Головин, рассказывая мне этот случай, точно не мог вспомнить, когда это было) он работал матросом на небольшом рейсовом пароходике на Черном море. Дело было ярким солнечным июльским днем. Он драил палубу и по своему обыкновению пел во все горло. Вдруг к матросу подошел какой-то весьма представительный господин и спросил:

- Как звать тебя, парень?
- Митькой! А тебя?
- А меня - Федькой! Слушай, парень, тебе не палубу драить - тебе петь нужно, - сказал пассажир.
- А я же пою!
- Тебе учиться надо. Попом-

ни мое слово, ты большим артистом станешь, - сказал пассажир.

- Артистом, - засмеялся матрос. - Мне бы боцманом стать, и то хорошо.

- Ладно, не будем спорить. Если надумаешь учиться, любому педагогу скажешь: меня Шалыпин слушал и сказал, чтобы я учился! Понял?

Но Митька Головин, парень из станицы Безопасной, что на Ставропольщине, тогда не знал, кто такой Шалыпин!

Как-то ночью не спалось, и Данилыч рассказал мне продолжение этой истории.

- Я ведь встретил его в Италии, в Ла Скала. Я пел там Фигаро, а он на следующий день Дон Кихота... Никогда себе не прощу, что по нашей проклятой привычке верить властям считал его «предателем Родины» и разговаривать с ним опасался... Эх, рабы системы - вот такими мы и были! А представляешь - подошел бы я к нему и сказал:

- Здорово, Федька, я - Митька, послушался тебя, певцом стал, в Большом пою... Эх, жизнь наша страшная - не подошел! А знаю, что он меня из-за кулис слушал и даже аплодировал.

Но прежде чем произошла эта встреча двух прекрасных русских певцов, Головину нужно было одолеть такие горы, что и подумать страшно.

3. Жизнь и судьба артиста

В истории советского оперного искусства имя и судьба Дмитрия Даниловича Головина (1894-1966) отмечена удивительным взлетом и всенародным признанием редкого таланта-самородка и трагическими обстоятельствами, прервавшими блистательную карьеру истинного любимца публики.

Обладатель редкого по красоте, силе и тембру голоса, Головин с большим успехом выступал в партиях лирического и драматического баритона. Мизгирь и Грязной, Евгений Онегин и Мазепа, князь Игорь, Демон, Яго, Риголетто, Фигаро - вот она, галерея незабываемых образов, созданных замечательным певцом. В его концертном репертуаре были романсы Глинки, Чайковского, Рахманинова, оперные арии Тома, Леонкавалло, Рубинштейна, русские народные песни, песни советских композиторов.

В силу своей одаренности и прекрасного, от природы поставленного голоса Головин начал выступать сначала в хоре Андреевской церкви, а в начале 20-х годов - в театре имени Луначарского в Ставрополе, где был замечен приехавшим туда известным русским театральным деятелем С.Зиминным. После довала приглашения в Москву, двухлетняя подготовка в стенах Московской консерватории, в классе профессора Н.Райского и параллельно в студии К.С.Станиславского. Потом в 1924 году состоялся блестящий дебют (партия Демона) на сцене Большого театра. Этот взлет был феноменален: за какие-нибудь шесть-семь лет от бравого матроса и запевалы в экипажах черноморских тральщиков до советской оперной знаменитости.

В течение первого десятилетия советская культура обрела новую могучую плеяду. На одной только оперной сцене появились такие фигуры, как Барсова, Пировов, Нежданова, Козловский, Лемешев, Максаква, Печковский, Ханаев, Нэлепп, Головин, Сливинский, Рейзен, Преображенская и многие другие, определившие высокий уровень вокального искусства.

Сергей Яковлевич Лемешев вспоминал: «...В пору своего расцвета, в конце 20-х и в 30-е годы, он часто пел так, как, пожалуй, до него никто не пел. Голос его по диапазону представлялся бесконечным, казалось, что его вполне хватило бы на двух певцов!»

...Когда Головин был «в удаче», на сцене, за кулисами и в зрительном зале царил праздник. После его выступлений в «Демоне» на тбилисской сцене, помню, не только зрители, но и многие из певцов словно шалели от той стихии звука и мощного драматизма, который обрушивал на них Головин.

В 1928 году по инициативе А.Луначарского, который высоко ценил Дмитрия Головина как певца и актера, Наркомпрос посылает его в Милан. Певец там совершенствовался, выступая вместе со знаменитыми мастерами бельканто. А концерты и спектакли в Париже и Монте-Карло принесли ему мировую известность.

Зарубежные газеты в те годы писали: «Выступления русского баритона Головина произвели неизгладимое впечатление...»

«По красоте и силе звука, по благородству тембра голос Головина не знает себе равных».

«...Восторгам и неистовству парижской публики не было пределов, когда стало известно, что Головин до четырнадцати лет был деревенским пастухом, что до появления на сцене он был сапожником, токарем, поваренком на пароходе, с 1914 по 1918 рядовым матросом Черноморского флота, и что свою артистическую карьеру он начал лишь в 1924 году».



Поистине блистательная карьера! Ему рукоплещут Милан и Париж, проходят десятки, сотни встреч с рабочими, колхозниками, краснофлотцами, а по красным датам календаря - праздничные концерты в Кремле.

Еще один штрих к портрету певца. В октябре 1941 года Большой театр эвакуировался в Куйбышев. Но Головин остался в Москве, часто выезжал в составе фронтовых бригад на передовую.

4. Концерт в колхозе

Но вернемся в «зону», в наш «театр за колючей проволокой». Жаркое уральское лето, маленький буксирчик тянет баржу с нашим «театром» по неглубокой северной речке: мы едем на малые «гастроли» по лагерным пунктам, разбросанным на 600-700 километров вокруг нашей «столицы» Ивделя. Там, в лагерной глубинке, нас ждут, ведь это единственный луч света в том темном царстве неволи, бесправия, произвола, медленной смерти, моральной и физической...

Когда я в 1989 году впервые начал печатать свои горькие воспоминания о «театре за колючей проволокой» в журналах и газетах СССР, а позже и Америки, пошла письма: от тех, кто «там» были «зрителями», и тех, кто так и не дождался своих родных и близких из этого ада. Многие просто спрашивали, не знал ли я их отца, брата, сестру, мать, не видел ли? Боже мой! Что я мог ответить?! Конечно, видел, но едва ли знал. Тот «зрительный зал» всегда был полон, об этом беспокойлись «органы» на воле. Да, я видел там десятки, сотни тысяч «зрителей» поневоле, но тогда все они были для меня на одно лицо... И лицо это было сумрачно, с затаенной обидой за сломанную жизнь, без всякой надежды на то, что «все будет хорошо». Нет, «там» всегда ждали только плохого. И, может, лишь глядя на поющих, танцующих, играющих артистов, на людей такой же горестной судьбы, в короткие часы спектакля, концерта страшное ненадолго забывалось, и приходило простое человеческое чувство восхищения и благодарности этим людям на сцене, которые хоть на время вернули их к той, утраченной жизни: из лагерного ада даже «режимная» жизнь под пятой великого вождя казалась чуть не раем...

Как строилась работа театра? Восемь месяцев в году мы были в поездках по Северному Уралу: по многочисленным его лагерям. Четыре месяца репетировали на своей базе в Ивделе. «Гастроли» в два захода: с осени - до весны и летом - до осени. Зимой - на санях и автомашинах по лежневке (деревянной дорожке), а летом - на открытой барже, которую тянул по уральским рекам маломощный катерок... У театра вольный начальник, лейтенант Вася Сумароков - безвредный, далекий паренек из местных, очень довольный своей «непыльной» работой и, может быть, потому не очень досаждавший нам придирками... Был он, дело прошлое, большим любителем женского пола, в каждой деревне у него была зазноба (по местному - «дроль») и потому, выехав с нами в поездку, он пропадал неделями, внезапно появляясь на короткий срок.

- Ну как, мужики, без ЧП? - спрашивал начальник и, получив утвердительный ответ, снова исчезал.

Театр был обязан выступать ТОЛЬКО перед заключенными и «вольными» работниками лагеря, ну и, конечно, перед ВОХРОм - военизированной охраной. Мы неукоснительно это выполняли, зная, что нарушение этого правила грозит возможным дополнительным сроком, а уж списанием из театра «на общие работы» - обязательно. Так что летом, плывя мимо уральских деревень, мы даже не приставали к берегу, хотя оттуда нам махали, звали и вроде даже приветствовали...

В тот злополучный день наш лейтенант как всегда был у очередной своей дроли, конвоиры спали в каюте катера, а ко мне подошел капитан суденышка и сказал:

- Однако причаливать будем! Матка тут живет. Праздник у них нынче - сенокос кончили. Немного бражки попить и дальше пойдём.

Мы причалили к берегу, на который уже высыпала вся де-

ревня. На борт катера поднялись председатель колхоза, фронтовик с полным иконостазом орденов и медалей, на протезе вместо правой ноги, и секретарь парткома, бойкая баба, тоже орденосеца и, как сообщил капитан, депутат Свердловского областного Совета... Они стали нас просить выступить перед колхозниками...

- Сенокос кончили, надо бы людей повеселить... Ничего же не видят: радио только в правлении колхоза, кино привозят раза три-четыре в год, а люди хорошо работают, безотказно!

Я ссылаясь на запрет, конвоиры, уже сагитированные местными девками, молчали: наше дело охранять - решать сам! До ближайшего лагпункта по реке дня три ходу. Кто увидит?

Не знаю, может, решающую роль сыграла явная возможность поесть сметаны, попить молока и даже - белых шанежек... В общем, как затмение, нашло - я согласился...

Мы выгрузились на берег со всем своим реквизитом и музыкальными инструментами. Под наблюдением нашего «завпоса» местные плотники стали ставить сцену на берегу, а театральный уже вовсю уговаривал...

От председателя я узнал, что большинство жителей деревни впервые увидят «живых» артистов. Он-то сам видел Русланова где-то под Кенигсбергом и еще каких-то клоунов в Праге... А остальным - ну прямо праздник, считай крепко подвезло колхозникам!

Начался концерт. Я во вступительном слове поздравил колхозников с окончанием сенокоса, поблагодарил за прием и ласку, назвав их, конечно, «дорогими друзьями»... Концерт шел отлично, по-моему, никогда наши солисты, и даже Головин, так не пели, не танцевали, не играли. Чеховская инсценировка «Жених и папенька» вызвала такой взрыв смеха и аплодисментов, что мы не услышали шума причалившего к берегу глассера. Когда я случайно оглянулся, то понял - это конец! С берега поднимались человеки пять в военной форме. Какое-то большое начальство (малое на глассерах не ходило!) направлялось к нам. Оркестр оборвал музыку, Головин замолчал на полуслове, наступила страшная тишина, в которой громко прозвучали слова, сказанные нашим рабочим сцены из блатных: «Век свободы не видать! Крепко подзалетели! Всем - хана!»

Наш хозяин-фронтовик сразу все понял, он вскочил со своего места, хлопнул меня по плечу и сказал: «Не тушуйся! Прорвемся!» и заковылял на своем протезе навстречу начальству. На наших конвоиров страшно было смотреть. Я почему-то прежде всего подумал о нашем лейтенанте: снимут погоны, положит партбилет да еще, весьма вероятно, перейдет на нашу сторону за колючей проволокой. Я старался не глядеть в сторону берега и все-таки увидел, что председатель с кем-то из приезжих обнимается. Не веря глазам своим, мы увидели, как приезжие вдруг повернули назад, и вскоре глассер, взревев мотором, скрылся из виду.

- Что сказали? Что нам делать? - кинулись мы к своему спасителю.

- Порядок в танковых войсках! Приказ мой такой - концерт продолжать, вечером танцы играть, а ночью проводим вас. Но больше не приставать - ни к какому берегу!

Оркестр без устали играл танцы, деревенские девки танцевали и «шөрочка с машерочкой», и с нашими кавалерами, часу во втором ночи мы «отдали концы», провожаемые всей деревней... На прощание я все-таки спросил у председателя:

- Как думаешь, дело не заведут? Кто это был?

- Да это же ваши, не НКВД, - это армейские.

- А они не стукнут в лагерь?

- Не должны! Видел, паря, как я там с одним колхозником обнимался? Это Михалев Иван Петрович из Свердловска, мы с ним на одной шине Днепр форсировали. Он плавать не умел, так я его таскал!

Боже мой! Чего не бывает в жизни! Как в сущности узок мир! Никогда не знаешь, откуда придет беда, а откуда спасение! Никто никогда не узнал о нашем «страшном» политическом преступлении - концерте для уральских колхозников! Никто и никогда!

Матвей ГРИН.

(Окончание следует).